

Автор с пером в руке перечитал книгу, написанную свыше тридцати лет назад. Вмешаться в произведение такой давности не легче, чем вторично вступить в один и тот же ручей. Тем не менее можно пройти по его обмелевшему руслу, слушая скрежет гальки под ногами и без опаски заглядывая в омуты, откуда ушла вода.

1959

ПРОЛОГ

Гражданин в клетчатом демисезоне сошел с опустелого трамвая, закурил папиросу и неторопливо огляделся, куда занесли его четырнадцатый номер и беспоконнейшее ремесло на свете... Москва тишала тут, смиренно пригибаясь у двух каменных столбов Семёновской заставы, облитых, точно ботвиньей, зеленой плесенью времен.

Видимо, новичок в здешних местах, он долго и с такой нерешительностью поглядывал кругом, что постовой милиционер стал проявлять в отношении его положенную бдительность. И верно, было в облике гражданина что-то отвлеченно-бездельное, не менее настораживали и его круглые очки, огромные — как бы затем, чтобы проникать в нечто, не подлежащее постороннему рассмотрению, и, наконец, наводила на опасные мысли расцветка его явно заграничного пальто. Впрочем, щеки незнакомца были должным образом подзапущены, а ботинки давно не чищены, да и самый демисезон вблизи приобретал оттенок крайне отечественный, даже смехотворный, как если бы шит был из подержанного, с толкучки, пледа.

Покурив и набравшись духу, демисезон двинулся напрямки к милицейской шинели и осведомился мимоходным тоном, не есть ли обступающая их окрестность — та самая знаменитая Благуша. Собеседник подтвердил его догадку, польщенный похвалой нескончаемому ряду невзрачных приземистых построек вдоль Измайловского шоссе.

— А которую улицу ищите? Ведь их у меня тут целых двадцать две, одних Хапиловок, извиняюсь, три... Благуша велика!

— Надо думать, чего только в районе у вас не имеется!..

— Всего найдется по малости, — очень довольный ходом беседы, усмехнулся милиционер.

— Верно, и воровские квартиры в том числе? — как бы незаинтересованным голосом осведомился демисезон.

Милиционер подозрительно нащурился, но тут, на счастье новичка, огромный воз порожних бочек замешкался на трамвайном пути... и вот они с веселым грохотом запрыгали по осенним грязям. Происшествие позволило демисезону вовремя отступить на тротуар и с независимым видом двинуться дальше, в зигзагообразном направлении.

Ничто за всю прогулку не оживило его озабоченного лица: бесталанные благушинские будни мало примечательны. Летом, по крайней мере, полно тут зелени; в каждом палисадничке горбится для увеселения глаза тополек да никнет бесплодная смородинка, для того лишь и годная, чтоб настаивал водку на ее листе подгулявший благушинский чулошник. Ныне же в проиндевелой траве пасутся гуси, и некому их давить, а по сторонам вросли в землю унылые от осенних дождей хижины ремесленного люда. Ни цветистая трактирная вывеска, ни поблекшая от заморозка зелень не прикрывают благушинской обреченности.

Лишь на боковой пустоватой улочке увидел путешествующий в демисезоне вроде как отбывшего сроки жизни гражданина в парусиновом картузе и зеленых обмотках; сидя на ступеньках съестной лавки, он сонливо взирал на приближающееся клетчатое событие. И как-то получилось, что не обмолвиться словом стало им обоим никак нельзя.

— Видать, проветриться вышли? — спросил демисезон, пряча глаза за безличным блеском очков и присаживаясь. — Наблюдаете течение времени, отдыхая от тяжких трудов?

— Да нет, водку обещали привезть, дожидаяю, — сипло ответил тот. — А вам чего в наших краях?

— Так, хожу... название у вас вкусное! Бла-гу-ша, нечто допотопно расейское: непременно переименуют! — рассудительно проговорил демисезон и предложил папироску, которую тот принял без удивления и благодарности. — Тихо у вас тут, нешумно.

— Покойников мимо нас возят, вот оно и тихо. И красных возят, и прочих колеров: всяких. Так что живем по маленькой...

Беседа не удавалась, дело шло к сумеркам, и путешественник по Благуше начинал поеживаться: ветру с дальнего разбега нипочем было пробраться сквозь крупные, расплзающиеся клетки демисезона. Он сделал попытку расшевелить неразговорчивого соседа.

— Давайте знакомиться пока! Фирсов моя фамилия... не попадалось ли в печати?

— Оно ведь разные фамилии бывают... — сказал без одушевления ремесленник. — У сестры вот тоже свояк в городе Казани был... Ан нет, — запутался он. — Не-ет, тому фамилья, никак, Фомин была... да, Фомин.

На том и покончился их разговор, потому что кто его знает, откуда взялся этот Фирсов — сыщик ли насчет сердечных и умственных тайностей, застройщик пустопорожних мест, балаганщик с мешком недозволенных кукол. Вот взыскательным оком выбирает он пустырь на Благуше — воздвигнуть несуществующие пока дома с подвалами, чердаками, пивными заведениями, просто щелями для одиночного пребывания и заселить их призраками, что притазились сюда вместе

с ним. «Пусть понежатся под солнышком и, поцветая положенные сроки, как и люди, сойдут в забвенье, будто не было!» Давно живые, они нетерпеливо толпились вокруг своего творца, продрогшие и затихшие, как всё на свете в ожидании бытия. Отчаявшись напиться в этот вечер, давно ушел фирсовский собеседник, а сочинитель все сидел, всматриваясь в наступающие сумерки. И где-то внутри его уже бежала желанная, обжигающая струйка мысли, оплодотворяя и радуя.

«Вот лежат просторы незастроенной земли, чтоб на них родился и, отстрадав свою меру, окончился человек. Иди же, владей, вступай на них смелее! Вверху, в пространствах, тысячекратно повторенных во все стороны, бушуют звезды, а внизу всего только люди... но какой ничтожной пустотой стало бы без них все это! Наполняя собой, подвигом своим и страданьем мир, ты, человек, заново творишь его...

Стоят дома, клонятся под осенним вихрем деревья, бежит озябшая собака, и проходит человек: хорошо! Промороженные до звонкой ломкости, скачут листья, собираясь в шумные вороха... и только человеческим бытием все связано воедино в прочный и умный узел. Не было бы человека на ступеньке, в задумчивости следящего за ходом вещей, — не облетали бы с деревьев последние листья, не гонял бы их незримым прутиком по голому полю ветер — ибо не надо происходить чему-нибудь в мире, если не для кого!»

Неглубокий овражек изветвлялся впереди, а дальше простирались огороды, а за ними, еле видная в туманце, исчезала под низким небом хилая пригородная рощица. На пороге стоял пронзительный ноябрь, солнце отворачивалось от земли, реки торопились одеться в броню от стужи. В воздухе, скользя из неба, резвилась первая снежинка: поймав ее на ладонь, Фирсов

следил, как, теплея и тая, становится она подобием слезы... Вдруг хлопьями копоты закружили птицы над полем, хрипло оповещая о приходе зимы. Холодом и мраком дохнуло Фирсову в лицо, и вслед за тем он испытал прекрасную и щемящую опустошенность, знакомую по опыту — когда вот так же раньше, для других книг, созревала в нем горсть человеческих судеб.

И тогда Фирсов увидел как наяву —

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Николка Заварихин проснулся, лишь когда перестала его баюкать равномерная качка вагона. Зевая и потягиваясь в прокуренной духоте, он свесился с верхней полки. Никого не оставалось из пассажиров внизу, в окно глядела Москва. Одолеваемый воспоминаниями сна, Николка стал с вещами выбираться наружу. Едкий дым пополам со снегом окончательно пробудили его расхмелевшее за ночь тело. Не выпуская клады из рук, Николка недоверчиво огляделся и, хотя перед ним находились всего лишь задворки большого города — тревожная скука убегающих путей, semaфоров да призрачных на рассветном небе брандмауэров с закопченными гербами и фамилиями покойных поставщиков двора, — опять взволновало его это пасмурное величие.

Порою снегопад переходил во вьюгу, но приезжий видел все перед собою остро и четко, как сквозь увеличительное стекло. Бесстрастные нагроможденья тесаного камня высились кругом, и по нему взад-вперед елозило бессонное железо, растирая и само перетираясь в пыль. Видно, из подражанья ему и люди свершали ту же уйму бесполезных движений, и, сам крепыш из глубинной губернии, Николка презирал их как судороги недужного, недолговечного существа... Тем не менее всякий раз по приезде в город покоряла его торжествующая и гибельная краса, и тогда всем телом под этими чарами ощущал он настороженную на него западню. И всегда, прежде чем вступить в сутолку

улиц, стаивал так, минутку-другую, примериваясь к воздуху и погоде; осведомленный о некоторых его завоевательных намереньях, Фирсов неспроста назвал его соглядатаем перед воротами чужого города... Все было значительно сейчас в Николке — упругая стать размахнувшегося для удара человека, приглушенный свет жестоких голубоватых глаз, варварская роспись на добротных валенцах, песенная и цвета сосны в закате оранжевость его кожана, дубленного ольхой, не говоря уж о пленительной пестроте деревенских варезек... На этот раз, едва сделав десяток шагов, он остановился, потрясенный представшим зрелищем.

В рассветной безнадежной мгле сидела *та самая*, ему казалось — только что бывшая с ним в сновидении, и она плакала посреди опустелого перрона. Пушистый платок сбился на плечи, снег порошил темные, до глянца гладкие волосы, меховая шубка распахнулась от предельного отчаянья. Слезы с первого взгляда и сроднили ее с Николкой, вдоволь навидавшимся горя на недолгом своем веку. Врожденная недоверчивость к женщинам, от которых бессознательно берег свою силу, уступила место иступленной жалости. Жгучая прелесть незнакомки хлестнула его по глазам, и вот он не сопротивлялся своему пленению, внезапному, как всякое несчастье.

Некогда было расспрашивать — женщина сама закидала его словами; мольба в них окрашивалась досадой на его тугую мужицкую сметку. Она показывала ему куда-то в зыбучий снег, и даже подозрительная розовость ее нерабочих ногтей не образумила Николки. Едва же понял, что проходимец только что вырвал чемодан у ней, спасительное сомнение вконец покинуло простака. Скинув к ногам незнакомки свой цветастый плетеный короб, — и сердце вместе с ним!.. — да крикнув постеречь, он скрипуче ринулся в метель искать земное имущество небесной грезы.

Кто-то, показалось взбудораженному воображению, перебежал между вагонами, стремясь выгадать время и укрыться от преследователя. Злоба и восхищение уgrupпили Николкин шаг. Лишь признав в настигнутом кондуктора сменившейся бригады, он остановился смахнуть пот со лба и перевести дыхание. Уже он не сомневался в своей оплошности и не спешил вернуться на место, где его застигло сострадание... хоть и неплохо было бы сейчас, придержав за плечо, заглянуть в глаза бабенки, что польстилась на его убогий пожиток. Еще раз сбывался наказ прадеда не верить городу, даже когда в беде он.

Усилившийся тем временем снег почти успел замести легкие и путаные следки.

— Все вокруг мираж один... — вслух подумал Николка, вернувшись на место, и длинная щель рта растянулась в усмешке, непроницаемой и для лезвия.

Гнев проходил, сменяясь презреньем. Достав из полущубка уцелевшую половинку деревенского пирога, он жевал с ожесточенным спокойствием, почесывал заросшую пухом щеку и поглядывал вокруг, благодарный за полученный урок. Со скрежетом и лязгом повседневного озлобления сновали по путям маневрирующие паровозы, и один, что привез Николку, с грудью навывкат и весь в масляном поту, прошел мимо него, жующего, — парень почти не посторонился. Где-то невдалеке бился на высокой ноте звонок, глухо и отчаянно, как пойманная птица. И все это ловко сливалось со вспомнившимся ему кстати дедовским заветом.

«То лишь нерушимо стоит, чего человек не коснулся, — говаривал покойник, если попригладить корявую речь неграмотного ямщика. — Окроме звезд в небе, настоящего-то почти и не видим мы мира, все больше видим руками сделанный, а чего они ни коснутся, людские жадные руки, то и обречено бывает несытому

и смертному покою. Берегись временного, внучек, а, напротив того, устремляйся к вечному!»

Тут остывшим воображением попытался Николка восстановить в памяти приметы обманувшей его незнакомки и уже не смог подобрать ни слов, ни сравнения для ее надменной, тоскующей красоты. Тем не менее она отпечатлелась в нем до гроба, и примечательно, что с той поры всех своих женщин, когда обнимал их, он наделял чертами той, с полувзгляда полонявшей навечно... Всего один, хоть и обширный, имелся у него план в этот приезд — слегка подкормясь на расчищенной, после бури, ниве отечественной коммерции, опередить всех, стать предком знаменитого торгового рода — в бороде и поддевке, как рисовали их на фамильных русских портретах, и, кто знает, пенькой и льном или другим каким товарцем прославить даже за границей свой безвестный дремучий край... но знал, что в любой точке этого пути, кликни *она* его, без сожаленья бросил бы фирму и веру, бороду старозаветную обстриг бы, лишь бы настигнуть и утолить однажды, на вокзале, возникшую ярость.

История иначе вмешалась в Николкину судьбу и, свалив его в самом начале пути, в различных положениях повлекла его тело по своему порожиному руслу. Но и тогда, из всего отускневшего к старости опыта жизни, пожалуй, единственное такое по силе своей сохранилось в нем виденье младости... После тяжкого лагерного дня накатывала на него иногда как бы знойная, всезавихряющая туманность. Тогда закрывал глаза и вытягивался под потолком на нарах несостоявшийся глава фирмы и хозяин российского льна, и подолгу лежал в неподвижности труп старый Завашихин Николай Павлович. И в том заключалась вся его отрада.

И хотя *она* маялась, мстила и падала, а потом сгнивала совсем поблизости, прекрасная Манька Выюга,

он встретил ее в жизни один всего раз, да и то лишь по непростительной сочинительской оплошности Фирсова.

II

Там, на Благущей, посреди Шишова переулка, обитал в насиженной каменной норе дядька Николая Заварихина — Емельян Пухов, слесарных дел мастер и человек. О занятиях Николкина дядьки и вопила вывеска, вкось прибитая над дверью мастерской. Слева курил на ней трубку неизвестного назначения вохряной турок, справа же чадил неисправный примус; в их совместном дыму, лупясь от блугущинской жары и непогоды, помещалось смешное слово *Пчхов*. Собственноручно расписывая новую вывеску годов шесть назад, позабыл Емельян, в какую сторону обращена рогулька буквы У. Так и прослыл он в округе мастером Пчховым, беззатейным человеком ясного и ровного пути, и даже дружок задушевный Митька Векшин не более прочих был осведомлен о немой и непонятной пчховской жизни. Все знали Пчхова лишь по тем чудачествам, какими отшучивался тот от соседского любопытства, к примеру — будто живет в ухе у него мокруша, заползшая в незапамятные сроки, когда шалил вишишком мастер Пчхов, и к непогоде начинает ползать, и тогда болит *поперек* до первого солнышка. Знали, что уж давно проживает он наедине со своим железом и от него перенял немногословие и скрытность; догадывались также некоторые, что после солдатчины пробовал Пчхов походить в иноческой скуфейке, да не пришлась по голове, и сбежал, похрамывая: в монастырьке повредил себе ногу. После чего, по слухам, добывал себе пропитание Пчхов на штамповочном заводе, но и тут *томно* стало ему, рванулся и убежал. Тогда-то, после нескольких темных лет, и задымил на вывеске само-

дельный турок, развлекая благушинскую скуку, обогащая записную книжицу захожего сочинителя. Впрочем, за отсутствием времени одиночеством своим не тяготился Пчхов. Не будучи учен, а лишь обучен, он знал о многом, только по-своему, и будто бы даже *понимал* чертежи. Разум его, как и руки, был одарен непостижимым умением плодотворно прикоснуться ко всему. Умел он вылудить самовар, вырвать зуб, отсеребрить паникадило, свести на нет чирей или побороть самый закоренелый случай пьянства. И едва раскрыл он перед местными жителями столь разносторонние сноровки, поразились благодарная Благуша до самых недр и признала Пчхова великим мастером. И так вышло, что, не будь Пчхова, погибла бы Благуша, а без Благуши какая уж там Москва!

В вечных пчховских сумерках, под копотным толком бессменно гудит примус, грея чайник либо паяльник, да остервенело хрипит над тисками крупнозернистый хозяйский рашпиль. Все здесь — и даже сам он, бровастый, хромой, черный — мужики седеют поздно! — пропахло садным привкусом соляной кислоты, разъедающей старую полуду. Ржавел в углах железный хлам и позывал на чихание, просил милосердного внимания самовар с продавленным боком, и пряталась в потемках какая-то колесатая машина, про которую никак не скажешь, часть она или уже само целое. Среди уродов этих бодрствовал ныне мастер Пчхов, а новоприезжий племянник сидел невдалеке, постегивая варешкой по наковаленке.

— Гостинцев вез тебе в той покраденной корзинке... — жалобился Николка на утреннее происшествие, но обстоятельств своей промашки в подробностях не перечислял. В окнах полно было снега, и все летел новый, убыстряемый косым ветром. — Ишь как понесло: хорошая зима уставляется! Ну, пора мне, пожалуй...

— Мать-то хорошо померла? — на прощанье осведомлялся Пчхов, клекая железную духовку.

— В общем ничего. С отдания Пасхи до Ивана Постного помаялась малость, дело такое... и меня-то вот задержала. На торговлишку собираюсь, дядек, благословишь?

Тот не откликнулся: несмотря на родство по матери, стояли между ними равнодушие и рознь. Не по душе была Пчхову семейная заварихинская жадность: день торопились прожить, точно чужой да краденый. Род был живучий, к жизни суровый, к ближнему немилостивый. Дед, отец, внук — все трое стояли в памяти у Пчхова, как дубовые осмоленные столбы. Бивала их судьба по головам, но не роптали, а лезли вновь, ни в чьей не нуждаясь помощи либо жалости. Всегда хмельной от собственной силищи, Николка не замечал дядина нерасположения: чтоб не сбиться с дороги, он не слишком любопытствовал о людях и, по собственному его признанию, не разводил излишнего сора в просторном ящике души.

— Эка, дряни-то у тебя... выкинул бы, пройти негде. Копотное твое занятие, надоедное: сам себя по уху колотишь!

И, поднявшись, племянник принялся было застегивать полушубок, но тут дверь раскрылась, и вошла высокая, вся в снегу, фигура, долгополая, староверская, в башлыке. Оказалось вдобавок, башлык скрывал голову с острым, почти отреченческим лицом, с бородой, такой черной, что походила на привязную. Старик почмокал и пожевал губами, шаря моргающим взглядом по углам. Когда ледяное бесстрашие его зрачков коснулось Николки, тот ощутил прилив странной подавленности.

— Здорово, Пчхов... — ворчливо сказал гость и покашлял, высвобождая голос из разбойной глухотцы. —

Все скрипишь, все прячешься. Оплутовал ты всех, каменные твои брови!

Но Пчхов продолжал молча копошиться над верстаком.

— Вот ты говоришь, — обратился он к Николке, минуя приветствие гостя, лишь становясь к нему лицом, — выкинуть барахло! — и кивнул на ворох железа в углу. — Вон, дело махонького случая, а обойтись нечем: заплаточку наложить! И дела моего понапрасну не хули: как ни стукну — копейка. Сколько я их за день-то настукаю... и без злодейства прожить можно! — с очевидным намеком прибавил он в заключение, а Николка подозрительно покосился на помаргивающего старика.

— Чего он застрял-то у тебя? — глухо спросил гость, кивая на Николку. — Поди с час в окно заглядывай: все сидит, настырный, да сидит!

— Свой... — нехотя скрипнул Пчхов. — Племяш, из деревни приехал.

— А, значит, новенький! — Изловчась, гость ткнул твердым перстом в расшитую грудь Николкиной рубахи. — Ишь какой отъелся на привольных хлебах! — посмеялся он, и в смех его вплетались застарелые простудные хрипы; тут он выпрямился перед Николкой, обнаруживая совсем еще крепкий стан. — Как озябнешь от жизни-то, парень, так забегай ко мне погреться: в Артемьевом ковчеге на всех места хватит! — Вдруг он выдернул из-под обмокшей полы тонкую змейку самогонного холодильника и протянул Пчхову: — На, полечи вот...

— Варишь все, Артемий? — кривовато усмехнулся Пчхов, но змейку принял, и тотчас все его инструменты накинудись на нее; она завизжала и засвистела в черных пчховских руках и скоро опять была готова точить из себя веселый яд. — Накличешь на себя беду!

— Не пугай!.. Митьку выпустили, обхудал. Спрашивал про тебя, жив ли, дескать, примусник! — сообщил новость Артемий и ждал пчховских расспросов, но тот отмалчивался. — Метет-то нонче! Так всего тебя и заметет вместе с турком, вот!

— Всех когда-нибудь заметет... — сухо отвечивал Пчхов, раздвигая на волокна подвернувшийся с верстака фитилек.

Гость собирался уходить, но звякнул звонок над дверью, и новая явилась личность. По макушку облепленный снегом, неожиданный, пугалом стоял на пороге клетчатый демисезон и силился протереть запотевающие очки. Близоруко щурясь, он посматривал на колесатую машину и, оттого что почуял враждебность наступившего молчания, заговорил тоном неверным и срывающимся.

— Вот... — начал он, кашлянув в целях сохранения достоинства, — как раз примус бы мне починить! Вчера еще был в исправности, знаете, а нынче течет поперек горелки, а не горит.

— Покажите, должен я осмотреть ваш примус, — хмуро отозвался Пчхов, выходя из-за верстака.

— В таком случае я и занесу его как-нибудь мимоходом. Моя фамилия, видите ли, Фирсов... невдалеке живу, — подозрительно заторопился гость. — Как случится идти мимо, кстати и притащу... а пока вот забежал познакомиться. Сугробистое, знаете, время! — И, наконец не выдержав неприязненного молчания, спиной попятившись в дверь, почти бежал от Пчхова.

Артемий метнулся к окну, но не доследил клетчатого демисезона и до противоположной стороны перелюк: мельканье снега застлало окно.

— Фигура! — качнулся после минутного молчания Николка.

— Все шныряют, высматривают!.. Эх, голова у меня от холоду ломится, застудил на Сахалине, вот башлык

завел, — недовольно бурчал Артемий, с бородой закутываясь поверх шапки. — Смотри остерегайся, Пчхов!

— А мне остерегаться нечего, моя жизнь заметная. У всех на виду моя жизнь! — бормотал Пчхов, снимая брезентовый передник.

Наступал полдневный час обеда и передышки в железных трудах Пчхова. Он загасил свою горелку и постоял минутку, как бы прикидывая на глаз, сколько еще грохота таится в железном ломе вдоль просырелых стен мастерской. Лицо у него стало сосредоточенное, прислушивающееся.

— Ползает в ухе-то? — пошутил Николка по уходе Артемия, поднимаясь со своего обрубка.

— Играет с безделья!.. — в голос ему откликнулся Пчхов, а думал о Фирсове: ни в наружности, ни в потрепанной одежде посетителя не нашел Пчхов ничего предосудительного и, хотя повод для визита явно был придуман Фирсовым, сожалел теперь о не состоявшемся разговоре с ним.

«Мастер Пчхов, человек с Благуши! — так год спустя захлебывался в повести своей Фирсов. — Как нужен был людям этот до смущенья пронзительный взгляд из-под нависших татарских бровей, — про них шутила московская шпана, будто он их мажет *усатином*. К нему тащились за человеческим словом виляющие и гордые от обиды, загнанные в последнюю крепость бесстыдства, потерявшие в самих себе. Порой посмеивался над ними Пчхов, но он принимал жизнь во всех ее проявлениях не только на взлете, но и в падении, чем и объяснялась его привычка улыбаться на весь мир. Он не оттолкнул Митьку, когда тот, опустошенный и отверженный, постучался к нему однажды ночью. Он не пинал и Агея, хоть и желал ему смерти, как мать неудачному детищу. Он приютил впоследствии и питал трудами своих рук Пугля, скинутого на дно. Да и многие иные, бессловеснейшие и бесталаннейшие из

земноногих, находили у Пчхова ласку, никогда не обижавшую.

А внутри себя был спокоен, как спокойны люди, видящие далеко. С молодых лет, имея особую склонность к сосредоточению и тишине, полюбил мастер Пчхов деревянное ремесло, самую стружку, весело и пахуче струящуюся из-под стамески, возлюбил. Украдкой верил он в край, где произрастают золотые вербы и сереброгорлые птицы круглый день свирестят. Так не для того ль, чтоб плодотворней насладиться впоследствии великим благом тишины, и обрек он себя на слесарное дело и общенье с беспокойными людьми?

А когда достиг наконец желанного безмолвия, — сказано было в фирсовской повести, — и лежал вытянутый и строгий, как солдат на царском смотре, то вся Благуша, оторвавшись от дел, глазела в окна, как провозили его мимо все по той же бесконечно длинной и скучной улице. И за гробом шел один только Пугль, одичалый и опустившийся от уже последнего сиротства. И все отметили тайком, что Митька Векшин, друг его сердечный, не примчался проводить старика на кладбище...»

III

Кроме образцов льна, валенцев и домашней *строчки* по крестьянскому холсту — всего, чем прославлена серая Николкина сторона, ничего не было в украденной корзинке. Не кража была причиной тому, что не оправдались надежды и ставка Николкина приезда. Заварихин обошел земляков, и те разъяснили ему, что суммы его капиталов, огромных в деревне, недостаточно для торгового почина в городе... Кстати погода переменилась, мокрым снегом понесло; тут Заварихин и загулял с огорченья.

Вечеру выйдя от дядьки, он двинулся наугад в окраинные переулки, где потемней: застыдился своей оранжевой деревенской овчины. Привлеченный полосами света, пересекавшими побелевшую от снега булыжную мостовую, он повернул раза два за угол и вот уже знал, куда идет. Под зеленой вывеской раскачивался слепительный в сумерках фонарь. Ветер прямо с ног валил, а запотелые изнутри, почти вровень с тротуаром, яркие окна пивной сулили тепло и уют. Заварихин посдвинул шапку и обдернул полы полушубка, отчего вдруг постатнел и вырос. Оттепельная капля с крыши, мелкой дробью в плечо, поторопила его спуститься по скользким ступеням в самое пекло подвала.

Просторную залу до отказа переполняли звон посуды, женские хохотки, беспорядочное движение, запахи сохнувшей одежды, кухни и табака. На эстрадке полосатый, беспардонный шут отсобачивал куплеты про любовь, пристукивая старорежимными лаковыми штиблетами. Только в заднем, тесноватом отделении, где свету было поуже, а гость темней с лица и опаснее, отыскался свободный столик. Заварихин расстегнул полушубок у ворота и скричал полового... Хмельные компании перекликались из угла в угол, дразнясь и ссорясь, но ленивая брань не грозила пока ножом. Слоистый дым окутывал перья фальшивой пальмы и несколько дурных картин, развешанных с художественным небрежением. Казалось, что этот ночной пир происходит на дне глубокого безвыходного колодца; свыкнувшись, люди и не заглядывали вверх. Все это была залетная гулящая публика, как пояснил Николке с усталым усмехом половой Алексей, тоже летучий парень с бельмом, весь пятнистый и захватанный, как его салфетка.

— Сам-то из Саратова, значит? — помаленьку осваивался Николка, приглядываясь к обстановке. — Сара-

товцы-то, в притче сказывано, собор на гармонь променяли... ты в ихнем деле не участник? Ладно, не серчай: шутка. Игроки сплошь да орляночники твои земляки, но земледельцы, бают, круглые, заботистые!

— А мы безземельны все, и дядья-то в половых бегали... весь род бегал, бегуны! Заказывайте, гражданин, некогда... — выпалил тот со злостью и попытался убежать, но Заварихин придержал его за рукав.

Вдруг что-то недоброе померещилось ему в этом месте, куда завела его незадача: и пропитанный тревогой воздух, и сидевшие кучками, сблизясь головами, соседи вокруг. В иное время ничто, даже недопитое и оплаченное вино, не удержало бы Заварихина тут, но сейчас не хотелось менять, пусть кабацкий, уют на слякотную улицу, жесткую койку в дядиной клетушке, на досадные раздумья о первом в жизни крупном поражении.

— Слышь-ка, приятель, а что за народ у тебя здесь... не зарежут? — притянув к себе Алексея, уже по-свойски осведомился Николка.

— Кому ж у нас резать? — деревянно посмеялся тот. — Резать у нас вроде некому. Это вы глубоко неправильно заметили... А просто субботний день, каждый норовит стряхнуться, потому как люди затруднительной жизни. — И парень выразил сочувствие кратким вращением глаз. — А тут у нас и *кубарэ* происходит, опять же кокетки, извиняюсь, заходят с улицы: публика, напротив, самая чистая. Даже в уголку, вишь, который в четверугольном пальто, сочинитель сидит, на манер Максима Горького. Ишь как в бумагу свою карандашом скребет, про жизнь записывает!

— Где, где? — всполошился Николка в простецком предположении, что сочинители бывают только мертвые, но парень вырвался и убежал.

И опять: именно то обстоятельство, что ничего выдающегося не виднелось в указанном направлении,

кроме клетчатого демисезона, а на столике перед ним красовалась всего лишь нищая кружка пива да нарезанная ломтиками вобла общедоступного сорта *карие глазки*, показалось Николке вдвойне подозрительным притворством.

Знакомы были Николке трактиры на больших дорогах, где степенный проезжий народ услаждается чаем с синим от заправки сахаром да кислыми суточными щами, а если выпьют, то не от распутства их шумливый хмель. Здесь — глаза людей смотрели с прищуром, как из-под бетонного козырька, под которым укрывались от суда и правды завтрашнего дня. Он не сулил им добра, этот день, хоть и притягивал к себе, как тянет магнитная гора ничтожный железный опилок. Нечистой удачью и разгулом старались они продлить летящее мгновенье, потому что остановиться в безостановочном падении можно было, лишь разбившись вдреизг. Невольно настораживали поэтому их опустошением и скукой отмеченные лица. Николка все еще недоумевал, и, когда липкая, без пола и возраста, пугливая тень предложила ему *поноухать*, он отпихнул ее враждебным взором, с брезгливостью нетронутого здоровья. И та поплыла меж столиками дальше, неся как вывеску своего товара недуг в обесцвеченных глазах... Тут, ощутив потребность выйти во двор, Николка поднялся из-за стола и с удивлением отметил, что успел захмелеть от выпитого натошак.

Когда он вернулся, людей прибыло, а толчея и шум чуть не вдвое усилились. Терпкий чад кухни, казалось, вот-вот скристаллизуется и хлопьями станет падать на засыпанный опилками пол. Поосвоившись, Заварихин перебрался за другой столик, в проходе, чтоб видеть происходившее на эстраде. Полосатого давно сменил чумазый фокусник, а на смену ему явилась пышная, в благушинском вкусе, красавица, со значительным вырезом на бархатном сиреневого колера пла-

тье. Низким, взводистым голосом она запела тягучую каторжную песню, то скрещивая руки на высокой груди, то в искусном отчаянии раскидывая их по сторонам, как бы даря себя двум сразу приземистым гармонистам, сидевшим по сторонам.

В совершенной тишине, медленно приспуская тяжелую шаль с белоснежного, как лакомство, плеча, мановеньями рук умеряя ярость гармонистов, она исполняла свою коронную —

...я в разгуле закоснела,
лучезарная твоя!

Судя по наступившему безмолвию, ее знали и ценили здесь, знаменитую исполнительницу роковых песен, как было сказано в самодельной афишке, Зину Балуюву. В переднем ряду какой-то атлетической внешности поклонник в бекешке, верно с черного рынка негоциант, все накручивал помрачительной отработки ус, жестом требуя от артистки дополнительно огня и ласки, а один зашиканный пропойца, пьяней вина и стоя на стуле, дирижировал и плакал в три ручья по своей надежно загубленной жизни... Во хмелю Николка довольно быстро утрачивал всякий удерж, а тут под влиянием всеобщего воодушевления его в особенности потянуло выделиться из всего человечества и с этой целью совершить нечто в старинном стиле, примерно высадить оконную раму, и высадил бы, кабы не музыка, а пока — лишь глазами и соответственным движением обеих рук заказал Алексею тащить к нему на стол все имевшиеся в наличии дары природы. Тогда-то, в разгаре поднявшейся суеты, и спустился в подвал новый посетитель, к великой Николкиной досаде немедленно овладевший вниманием пивной... причем и у самого Николки осталось щемящее впечатленье, будто острым и праздничным сквознячком пахнуло на него от вошедшего.

Леонов Л.

Л 47 Вор : роман / Леонид Леонов. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. — 784 с. — (Азбука-классика). ISBN 978-5-389-18988-1

Роман «Вор», написанный Леонидом Леоновым в 1925–1926 гг. и дополненный в конце 1950-х, стоит особняком на фоне советской литературы того времени — слишком уж нетипичны его сюжет и персонажи. При этом характерная, яркая художественная манера совсем молодого на тот момент писателя, его близость традициям русской классической литературы были высоко оценены коллегами и нашли отражение не в одном прославленном произведении XX века.

Главный герой романа Митя Векшин — в прошлом красный командир, еще недавно сражавшийся за идеалы революции, был изгнан из армии за буйный нрав и теперь разочарован в прежних убеждениях, видя, как «светлое будущее» выродилось в убогую действительность нэпа. Примкнув к воровской шайке, он добился успеха в новом ремесле. Преведняя жизнь осталась позади, а в ней семья и еще невеста Векшина красавица Маша Долманова. Но от прошлого не уйти, и совсем скоро Вору предстоит столкнуться с его посланцами, да так драматично, как он и представить себе не мог.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ ЛЕОНОВ

ВОР

Ответственный редактор Анна Щеникова-Архарова
Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Наталья Бобкова, Дмитрий Капитонов
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 12.01.2021. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 34,54.
Заказ № .

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



V-VAK-27674-01-R